

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

жертва, жертвенность, аскеза, история, историческое событие, отверженность, искусство.

Кандидат философских наук,
доцент Института философии
Санкт-Петербургского
государственного университета.

Адрес: Университетская наб., д. 7–9,
199034, Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: asekatski@mail.ru

Статья посвящена попытке разрешения одного из важнейших вопросов метафизики и, одновременно, экзистенциального парадокса: каким образом жертва, воплощающая чистую идею негативности, является непременным условием всякого созидания, заслуживающего этого имени?

Краткий антропологический экскурс позволяет утверждать, что первые человеческие святилища — это именно жертвенники, при этом сакральное и жертвенное до сих пор пребывают в нерасторжимой связке. В работе прослеживаются связи жертвенного начала с прочностью обретаемого социального единства, с историческими формами религии и с искусством, а также предпринимается попытка выделить жертвенный дискурс в европейской метафизике, где он зачастую глубоко скрыт или принимает причудливые формы.

В метафизическом ключе исследуется проблема жертвенного кризиса, при этом особое внимание

уделяется такому ее аспекту, как угодная и негодная (отвергнутая) жертва. Оказывается, что многие события истории поддаются интерпретации в логике принятой и отвергнутой, отклоненной жертвы, и хотя результаты такой трактовки являются спекулятивными, они не лишены интереса и философской значимости.

В этом же, жертвенном, контексте рассматривается и возвышение европейского искусства, произошедшее в эпоху Возрождения, — тем самым осуществляемое творческое созидание получает новое объяснение.

В человеческом мире, даже в современную эпоху, встречаются и жертвенность, и самопожертвование: благодаря этому учреждаются узы близости и настоящей дружбы — но право отвергнуть жертву без объяснения причин остается эксклюзивным правом Бога и важнейшим атрибутом божественности. Только любовь обнаруживает иногда столь противоречивые глубины, и поэтому Бог есть Любовь.

ВОПРОС О СМЫСЛЕ

В антропологии, практически во всех ее версиях от полевой этнографической антропологии до метафизических текстов Батая, Кайюа и Макса Шелера, тема жертвоприношения проходит красной нитью — или, по крайней мере, пунктиром — и особенно ярко проступает там, где нет сколько-нибудь внятных рациональных объяснений. В огромном массиве антропологической литературы подробно описаны детали соответствующего ритуала, описаны жертвенники и святилища, которые, чем архаичнее описываемая эпоха, тем ближе оказываются друг к другу вплоть до исходной неразличимости, как если бы когда-то, сотворив человека, demiург обратился бы к нему с первыми словами: «и вот тебе жертвенник для всесожжения, и да не будет тебе других святилищ кроме него!» Потребовалось время, если угодно, время остывания, чтобы появились и иные святилища, святилища другого типа, способные поддерживать некую альтернативную связь с богами, с тем светом...

Подробно, тщательно описан «состав» жертвенного приношения и последовательность церемоний, исследованы этапы эволюции, которая в обобщенном, кратком виде выглядит так: прямая жертва, замещающая жертва, жертва символическая, — т. е. преобладает ранжирование по принципу облегчения (инфляции) ставки. Выделяются и другие модальности жертвоприношения: жертва предварительная, компенсирующая, искупительная. Хуже всего дело обстоит с попытками объяснения, например, с миро-устроительной функцией жертвоприношения.

Из многочисленных описаний от Фрэзера до Рене Жирара, мы узнаем, что «верить», «приносить жертву», «быть человеческим существом», «поддерживать жизнеспособность социума» — понятия близкие, переходящие друг в друга. Но остается неясным, что же в них созидающего, какова характеристика великой производительной силы жертвоприношения?

Что, собственно, производится этим актом? В общих четах можно согласиться с Батаем, Кайюа и Жираром: свобода и суверенность — т. е. фундамент человеческого в человеке. Но как именно и почему? Все это пока остается тайной.

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ЛОГИКА

Есть плоская геометрия Пифагора—Евклида, существует стереометрия в разных вариантах, есть и современная алгебраическая геометрия — причудливая, невероятная и необозримая, если стоять внутри пифагорова треугольника, но в конечном счете объясняющая и санкционирующая этот самый треугольник. И логика расширялась и преобразовывалась — от аристотелевской силлогистики до математической логики и логики возможных миров; диалектика тоже есть логика высоких измерений как бы к ней ни относиться. Как же она работает в случае жертвоприношения, как объясняет этот demiургический акт учреждения трансцендентного? Здесь мы имеем дело с самым ядром

универсального космогонического мифа. Например, жертвоприношение Пуруши, которого приносят в жертву, рассекая на части, а затем из этих же частей вновь составляют тело. Это можно понять как пересотворение: сначала заготовка, и лишь затем, после жертвоприношения, *сам человек*. Без жертвоприношения человеческое еще не конституировано, и Пуруша, скорее, голем до этого высшего демиургического акта.

Авраам заносит жертвенный нож над Исааком, он готов принести в жертву не себя, а того, кто дороже ему, чем он сам, — единственного, долгожданного (всю жизнь) сына, — и нет сомнений, что он сделает задуманное, если только сам Господь не отведет его руку и не усмотрит другого агнца для всесожжения. Перед нами Жертвоприношение с большой буквы, и оно есть основа Завета, и остается лишь удивляться как стыдливы и трусливы интерпретаторы, внушающие разными способами читателю, что Господь и не мог, и не собирався принимать жертвоприношение Авраама (интерпретаторы, особенно сегодняшние, наивно полагают, что паства не вынесла бы такого Бога, который, не дрогнув, принял бы жертву, хотя для первых уверовавших требовалось объяснение как раз того, почему Бог руку Авраама отклонил, поставив под угрозу надежность Завета).

Еще один бог, собственно, Один, требовал себе регулярной жертвы, и когда ничего подходящего не оказалось, принес себе в жертву самого себя. Он свершил операцию, непосильную для диалектики, — и подобными примерами полны космологические системы мира. Но, не вдаваясь в антропологические тонкости, поставим вопрос ребром: почему же непременно нужно лишать жизни, убивать, истреблять, терять и отказываться, для того чтобы учредить человеческий мир и обрести прочные устои? Почему бы не прибегнуть к вариации какого-нибудь благого пожелания типа «давайте жить дружно»? Или взять популярный лозунг одомашненной Европы: «мы такие разные, и все-таки мы вместе», — почему же ни в одной космогонии мир не начинается с таких или подобных слов? С девизов дружбы, приветливости, терпимости? Дело всегда обстоит иначе: либо мы совершим жертвоприношение, оказавшись втянутыми в деяние добровольно принятой и даже приглашенной смерти, либо с экзистенциальным измерением бытия ничего не выйдет — реактор по производству души не работает.

Вслед за принесенной жертвой начинается избывание, искупление, если угодно, утоление боли, муки, но все дело в том, что этой муке нельзя было избежать. Можно установить, восстановить мир, если мириться, но если нет повода «мириться», то нет и мира. А что есть? — глиняная заготовка, которую следует омыть горячей жертвенной кровью, иначе она не станет человеческой плотью, так и останется глиной.

Нужно также удивительным образом приостановить простую транслируемую тавтологию «а есть а», рассечь ее и произвести неравенство, вызвать инопричинение изнутри самопричинения. Что-то вроде такого:

a есть *a*,
a есть не-*a*,
a есть *b*,
 так вот, теперь *a* есть воистину *a*.

Впрочем, одна и та же логическая сила может скрывать в себе вещи, не имеющие отношения друг к другу, может скрывать решающие различия.

ОБРАТИМСЯ К МЕТАФИЗИКЕ

А что же философия с ее важнейшей задачей описывать решающие акты производства человеческого в человеке? Что она говорит о жертвенности и со-зидании? Увы, немногое, в основном то, что и так знает антропология: *жертва лежит в основе солидарности, свободы и суверенности*. Жертва положена в основу важнейших человеческих вещей, как принесенное в жертву животное кладется в основу, в фундамент возводимого дома, которому предстоит стоять долго и давать приют полноценной человеческой жизни. И если ты не принесешь жертву, ты не защитишь свой кров (основы общежития), — что и подтверждает совокупный опыт архаики. На вопрос, почему, собственно, не защитишь, почему именно для мирности мира требуется возобновляемое жертвоприношение, свой ответ дает Рене Жирар: суть в том, что наступает жертвенный кризис. Если вкратце резюмировать ход мысли Жирара, получится следующее: в обществе накапливается сорное, неканализованное насилие, и оно должно быть сосредоточено на подходящей жертвенной фигуре, как бы втиснуто в нее и правильно погребено в огне жертвенника. Лишь тогда происходит избывание, новое тело Пуруши может вздохнуть полной грудью. Но жертвенный кризис, как ясно из самого термина, призван объяснить очистительную работу жертвоприношения, но не его первопричину. Она же сама вновь ускользает от объяснения, дело ограничивается констатациями, хотя и они, конечно, достаточно важны.

Этимология индоевропейских философских терминов более или менее ясна, выявлены базисные метафоры: универсальная метафора ткачества (ткань (*text*), основа и уток, связующая нить), метафора строительства (фундамент, устои, архитектурника), — и что уж говорить про оптикоцентрическую или паноптическую метафору. С «жертвенной» метафорой дело в языке философии обстоит куда сложнее и запутаннее.

Конечно, вспоминается «работа негативности», которую Гегель рассматривал как основу живой жизни понятия (Гегель 1992, 28–29; Гегель 2002, 764). Гегелевская негативность, как справедливо отмечает Кожев, лежит в основе самости и протеста (см.: Кожев 1998), и жертвенное начало проглядывает в ней, особенно когда Гегель говорит об абсолютной разорванности, на которую тем не менее следует решиться. В каком-то смысле притягательность гегелевской философии, ее удивительная применимость вытекают из близости к великой жертвенной практике, но мешают опасения, которые Гегель так и не смог преодолеть. Если угодно, это слишком прямое и поспешное

сведение жертвоприношения к «пользоприношению», попытка удержать их в одном плане имманенции. Между тем жертвоприношение учреждает мир суверенности и если и приносит пользу, то лишь такую, которая будет точно бесполезной здесь и сейчас, точнее, будет губительной для текущего пользоприношения.

Жертвенность не вытекает ни из какой логики, она выстроена не как инобытие, а как трансцендирование, она в каком-то смысле является более радикальным трансцендированием, чем смерть. Смерть наступает и достойных и недостойных, она ожидаема и всегда лишь отложена, отсрочена: существуют ситуации и контексты, в которых ожидание смерти не отличается от ожидания ужина.

Но жертва, особенно в ее соотношении с самой собой, как самопожертвование, обостряет неразборчивую смерть собственным сознательным выбором, включая факт, место, день и час. Да, никто не знает ни дня, ни часа своего, — никто, за исключением приносящего себя в жертву.

И это, конечно, трансцендентальный акт созидания, запуск новой причинности, *causa sui*. То есть жертвоприношение есть способ определиться на местности, если под «местностью» понимать рельеф бытия. Учреждается ось координат, уходящая в трансцендентное, где сейсмический центр новой причинности, исходящей от эксклюзивной точки, перебивает действие «старой» причинности, уже не способной причинять ничего существенного, ничего экзистенциального (закон свободы отменяет законы природы — согласно Канту). И это как раз — сила созидания.

«Если Бога нет, то все позволено», — утверждает герой Достоевского. Скажем теперь так: если жертвоприношения нет, если оно не совершается больше, то ничего не доступно, ничего из того, что принято относить к высшим человеческим устремлениям. Жертвоприношение открывает горизонты далекого доступа.

АСКЕТИЧЕСКОЕ И ЖЕРТВЕННОЕ

Удивительно, но учреждающую, мирозозидающую роль жертвоприношения практически без внимания оставил Ницше. Зато его внимание непрерывно привлекала аскеза и аскетический идеал — нечто близкое и родственное жертвоприношению, хотя степень этого родства установить не так просто. Вспомним его знаменитое определение аскетизма: *«жизневраждебная специя, необходимая для произрастания самой жизни»* (Ницше 1990б, 489). То есть жало аскезы направлено туда же, куда и жертвенный нож: возникает искушение рассмотреть аскезу как жертвоприношение, растянутое во времени. Следует приостановить простую экспансию присутствия по линии наименьшего сопротивления и обратить силу преодоления на себя самого. И тогда что — произойдет «разбиение сосудов» согласно философии Хабада? Прежние враги придут на помощь? Будет предотвращен незаметный захват самости?

Да, все это и многое другое: авторизация, обретение суверенности, учреждение себя как иного и иного как себя... Самое глубокое понимание этих моментов, как всегда, присутствует у Достоевского. Вот что говорит старец Зосима:

Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а, напротив, всякий сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле... И чем долее потом будет жить иннок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае незачем ему было и приходиться сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигается (Достоевский 1991, 183).

Чтобы получить благодать, святость и силу, нужно оказаться виновнее всех, принести в жертву счастливое, уверенное в себе сознание и взамен — приобрести мир. То есть, скорее, учредить мир, который теперь будет стоять на его, инока, деянии.

Возникает вопрос: но ведь уклонившиеся от жертвы не претерпели урон, они сохранили себя и свое, — почему же не им принадлежит приоритет в созиидании? Или не тем, кто действует по принципу: «на тебе боже, что мне не гоже»?

Обладать приоритетом можно, лишь вступив в жертвенное отношение и по его итогам. То есть нужно авторизоваться, воистину став хозяином своего, — но разве можно стать суверенным властителем своего без реализации права на отчуждение, дарение, уничтожение? Вспомним расхожий софизм: «То, что ты не потерял, то у тебя есть, тем ты располагаешь. Но ты не терял рога, значит, они у тебя есть...».

Теперь, улыбнувшись, преобразуем этот софизм в настоящую философскую максиму:

Того, что ты не терял, у тебя, в сущности, и нет, или *все равно что нет*. Недостоящее можно приобрести, но лишь потерянное — обрести. Обретения нет без потери и утраты. Жертва интенсифицирует и приумножает обретение, придавая ему новый статус. Так, лишь жертвоприношение позволяет обрести самого себя, оно же может помочь обрести друзей среди прежних врагов. Или дать жизнь богам, если понимать бога как объект возобновляемых жертвоприношений, — для структурализма это вполне работающее определение. А если ты не сотворишь богов, то как получишь их покровительство? Таков круг кулы, таков же и непорочный круг жертвоприношения. История о том, как и когда умерли бессмертные боги Олимпа, проста, и к ней нечего добавить: когда им перестали приносить жертвы. Ими, их изваяниями и изображениями продолжали любоваться, истории о богах продолжали слушать и читать, это с удовольствием делают и по сей день. Но когда Зевсу перестали приносить в жертву быка, а Артемиде — агнца, когда погасли огни жертвенников, оставалось лишь констатировать: боги мертвы. В это же самое время угас и дух Эллады и сама античность погрузилась в Аид, в царство теней, в царство мертвых.

ЖЕРТВЫ УГОДНЫЕ И НЕУГОДНЫЕ

Каин стал изгоем еще до того, как перестал быть сторожем брату своему:

И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел (Быт. 4:2–5).

Так в Ветхом Завете вводится важнейшая дихотомия угодной и неугодной (отвергнутой) жертвы, что делает самое радикальное человеческое деяние еще более радикальным. Задумаемся над этим. Бог может отвергнуть жертву, отклонить без объяснения причин, — «не призрел» и все. Яхве просто дает Каину совет как быть дальше, не объясняя, почему Он призрел жертвоприношение Авеля, а Каиново отверг. Допустим, Каин выбрал бы стратегию сбережения, проявил жлобство и не принес бы жертвы Господу. Тогда отвергнутость самого Каина не вызывала бы вопросов: не совершающий жертвоприношения не участвует в созидании души. Но Каин принес жертву, и нигде не сказано, что она стоила ему меньше чем Авелю. Дело вовсе не в этом, а том, что Господь *не призрел ее*.

Дело также и в том, что в истории с Авраамом (вновь вернемся к ней) вся поздняя теология неверно расставляет акценты. Вот Авраам занес руку с жертвенным ножом, но Господь отвел его руку. Но мы спешим представить себе тот ужас, который ожидал бы Авраама (и нас), если бы Бог не отвел его руки и Исаак был бы повержен, лишен жизни. Как уже отмечалось, мы неверно представляем себе самое ужасное для Авраама. Мы забываем главное: Господь отвел руку Авраама, но он *принял* его жертву. Самый ужасный ужас для Авраама состоял бы в том, если бы Бог, отведав руку, отклонил бы и жертву. Тогда Авраама постигла бы участь Каина. Его семья не получило бы благословения, и сохраненная жизнь Исаака вряд ли утешила бы Авраама *в этом случае*. Вспомним Каинову участь: отвергнутая жертва обрекла его на то, чтобы быть сторожем успехов брата своего, получившего обетование и благословение. Каин отказался быть «сторожем брату своему» и перешел грань между неугодной жертвой и проклятием.

Великое чаяние всех времен и народов состоит не в том, чтобы обойтись без жертв, оно гласит: «чтобы жертвы наши были не напрасны». Да избегнет нас Каинова печаль и следующая за ней Каинова печать. Но пути Господни неисповедимы даже в этом, точнее говоря, в этом прежде всего.

Важнейшим условием высшего обещания и обетования является хорошая память, — вопрос в том, чья именно? Крайне существенно, чтобы *давший обещание* не забыл его, чтобы он не пожалел усилий для исполнения обещанного, — об этом исчерпывающе написал Ницше в «Генеалогии морали». Однако, если давшие обещания забудут их или не смогут исполнить, мир все-таки устоит. Ведь подобное положение вещей существует и сегодня и именуется политикой. Но, вот если обещанное забудет тот, *кому обещали*, мир может

рухнуть, — потому-то Бог есть непреременный гарант того, что ему обещано. Бог есть тот, кто не забывает обещанного Ему, и на этом держится мир.

Но с жертвоприношением ситуация другая. Здесь мы имеем дело с предельным теургическим жестом: лишь человек жертвующий обретает богов, но одновременно божественное неразрывно связано с возможностью отклонения жертвы, и капризность здесь не при чем, она возникает в случае человеческого вторжения в эту монополию Всевышнего.

ЛОГИКА ДЕМИУРГИЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ

Решающе важным моментом является неизменность дистанции между принесением жертвы и принесением пользы. Эту важность можно пояснить с помощью нескольких незатейливых изречений.

Наши *партнеры* — это те, кому мы приносим пользу, и, поскольку данное отношение может быть только симметричным, они тоже приносят пользу нам, иначе речь идет об эксплуататорах и поработителях, а не о партнерах. В более узком и строгом смысле слова это диапазон взаимной выгоды. Партнерские отношения выступают в качестве регулятивного принципа слишком человеческого; мир, в котором все приносят пользу друг другу, остается хоть и недостижимым, но понятным.

Наши *близкие* суть те, кому мы приносим жертву, — при условии, что жертва принимается. Идеал и регулятивный принцип близости — согласованность встречных жертвоприношений. В простейшем случае это след взаимной усталости, обмен минимальными рутинными жертвами ради и во имя друг друга. Но если жертва отвергается, близкий человек превращается в предателя, мучителя или бесчувственное чудовище.

А *боги* — это те, кому приносят жертву без каких-либо гарантий, что жертва окажется угодной и будет принята.

Подобный выбор знает и любовь — в тех случаях, когда мы обожествляем любимую или любимого, и самое удивительное в том, что на какое-то время любовь может это пережить. Здесь кроется некий упущенный смысл тезиса «Бог есть любовь» — воистину божественное в любви вовсе не созерцание небесных сфер и диалектических переходов и не безграничное милосердие, проходящее по своему собственному ведомству, а квинтэссенция жертвенности — право отвергнуть жертвоприношение любящего и остаться при этом любимым. То есть право играючи воспользоваться эксклюзивной прерогативой Бога, которой не обладает никто из земных властителей, кроме любимой и любимого.

ЖЕРТВЕННЫЙ КРИЗИС, НОВОЕ ВРЕМЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Новое время характеризуется не просто распадом жертвенных практик, можно сказать, что отлив жертвоприношений служит конституирующим фактором Нового Времени как такового, — об этом говорят и Ницше, и Жирар. Но теперь у нас появляется возможность взглянуть на дело иначе. Да, всеобщая

редукция ставок бросается в глаза; даже остающиеся еще символические и замещающие жертвы в сознании участников утратили связь с жертвенным началом и воспринимаются как досадные, неизвестно почему сохраняющиеся помехи и задержки созидания, — сегодня девиз «обойтись без жертв» становится символом успеха в любом деле.

Презумпция сохраненности сегодня декларируется в качестве универсального этического принципа, что означает замену жертвоприношения пользой приношением во всех регионах человеческого присутствия.

Жертвенная практика изменилась институционально, но это отнюдь не значит, что она исчезла навсегда. Сегодня жертвенный кризис состоит, скорее, в другом — в наступлении эпохи *неугодных жертв*, жертв непринятых и отвергнутых. Примерно в это же время стали говорить о богооставленности, которая не обязательно должна быть связана со смертью бога, с упадком его всемогущества. Достаточно того, чтобы Бог *не призрел* ряд приносимых ему жертв, отверг их одну за другой и тем самым не возобновил завета. Он еще не отвергает даваемые ему обещания, но угодных ему жертв становится все меньше, и, видимо, как следствие, меньше становится и жертвоприношений вообще.

Особенное отчаяние это должно вызывать у «величайшего жреческого народа», как называл еврейский народ Ницше (Ницше 1990б, 422), чьи жертвы когда-то были так угодны, что последствия сказываются до сих пор. Представители его и в самом деле размножились как песок морской: в науке, в культуре, во всем символическом производстве и в современных элитах. Но это было давно, — быть может, жертвоприношение Исаака было последней великой жертвой, одобренной свыше. С тех пор шли только сбои и неудачи, по сути, напрасные жертвы... От испанского изгнания и до наших дней продолжается черная полоса. Ничего не дало жертвоприношение России, в которой евреи стали первенцами, обрели первородство. Холокост, если трактовать его в соответствии с названием как всеожжение на жертвенном огне, был (и в этом весь ужас) напрасной жертвой, — таково самоощущение большинства уцелевших жертв. Лишь немногие, верующие так, как веровали Авраам и Моисей, терпеливо ждали, пока Бог примет жертву, и обретение государства Израиль стало для них знаком, что жертва была угодна Господу. Что касается непомерных потерь, то как раз они, верующие в Бога Авраама, Исаака и Иакова, знали, что нрав Его всегда был суров и со времен Содомы и Гоморры ничуть не смягчился. Да, раз в тысячелетие Он может отвести занесенную руку с ножом от Агнца, но может и не призреть искренней жертвы, и обратить песок морской в бетон для стены Плача.

С точки зрения великого жреческого народа, после обретения Царства на повестке дня должен стоять Храм. И поскольку текущая жизнь проходит во времена Неугодных Жертв (такие уж времена), то при самом тщательном отношении к отделению агнцев от козлиц, к выбору чистых и непорочных для Всесожжения, возможно, потребуется еще не одна попытка.

Пожалуй, еще рано подводить итоги последней по счету попытки, но, кажется, Яхве и на этот раз отвратил свой лик. А ведь жертвенный проект, так и не получивший единого, общепринятого имени (в числе пробных названий — «неогуманизм», «толерантность», «политкорректность», «глобализм»), был осуществлен в планетарных масштабах. В жертву вроде бы принесены лучшие: самостоятельно мыслящие, наделенные высоким уровнем притязаний, люди из колен Эйнштейна и Фрейда. Им пришлось уступить свое первородство *малым сим* и даже малейшим из малых. Эталонем нового человечества были избраны (или назначены) кроткие, незлобивые, несчастные, выпускники спецшкол, для которых верхом карьеры может служить работа в пиццерии, клинические и социальные аутисты, наконец, уверовавшие в социальную рекламу как в скрижали Завета, словом, хуматоны, закваска нового человечества. Их запросы и были утверждены в качестве оптимального уровня притязаний (а что сверх того, то от лукавого, то гордыня и суета сует), в результате чего носители бóльших возможностей стали, скорее, носителями отклонений. Но главное то, что незатейливое счастье хуматонов было возведено в эталон насыщенной, состоявшейся жизни, стало образцом успешной, признанной самореализации.

Воистину, удивительный вид имеет этот спектакль со стороны. Вот — обладатели изощренного ума, высоких амбиций, настоящей душевной широты, словом, традиционные претенденты на роль лучших, обладатели качеств признанной элиты. И все это предстояло принести в жертву носителям незатейливого счастья, умерить свой уровень притязаний до их уровня, устыдится своего превосходства, которое ныне считается вовсе и не превосходством, а обременением.

Всем инстинктам жизни надлежало пройти *денатурацию*, когда сначала было отключено сверхъестественное, а затем извращено и денатурировано и естественное. С какой-нибудь удаленной, инопланетной дистанции это выглядит как преклонение перед уродцами, отщепенцами в виде «щепочек», которые из всего диапазона души удерживают только узенький участок. Причем они как бы отщепенцы «с разных боков», объединенные лишь общим принципом денатурации, извращенностью того или иного инстинкта или, наоборот, гипертрофией той или иной частичной способности. Не о них ли писал пророчески Ницше в своем «Заратустре»:

И когда я шел из своего уединения... я не верил своим глазам, непрестанно смотрел и наконец сказал: «Это ухо! Ухо величиною с человека!» Я посмотрел еще пристальнее: и действительно, за ухом двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое. И поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле — и этим стеблем был человек! Вооружившись лупой, можно было разглядеть даже маленькое завистливое личико, а также отечную душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, но даже великий человек, гений. Но никогда не вел я народу, когда говорил он о великих людях, — и я остался при убеждении,

что это — калека наизнанку, у которого всего слишком мало, и только одного чего-нибудь слишком много <...>

Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека! (Ницше 1990а, 100)

Никакой здравый смысл не может вместить этой нелепости, — только логика жертвы может как-то описать ситуацию: носители Первородства преклоняют свои снопы перед бастардами и недоносками, сон Иосифа как бы реализуется в обратном направлении: как только появляется тугой сноп со свежими жизненными силами, вокруг него тут же встают косые, кривые и трухлявые снопики, а очередной Иосиф Прекрасный поклоняется им и просит прощения за то, что не был *особым ребенком*, за то, что он не разносчик пиццы, не активист гей-сообщества, и вообще ничего не сделал для того, чтобы облегчить положение геев в Катаре и суннитов в Сирии, которых кровавый режим Асада лишил возможности истреблять христиан. Вместо этого он студент Кембриджа, солист Ла Скалы, конструктор коллайдера, — так пусть же сноп его поникнет перед снопами сухими и кривенькими, пусть не портит общей картины, когда одобренный горизонт признанности выравнивается по минимальному уровню притязаний (т. е. ниже плинтуса), а *выдающиеся* пусть выдаются незримо и тихо, не забывая славить продукты денатурации как соль земли.

Этот грандиозный жертвенный проект поначалу шел почти без сбоев, истеблишмент стыдливо признал первородство новых носителей духовности и должным образом организовал поклонение им. Казалось уже, что господь принял, призрел эту жертву и восстановление Храма не за горами... Но все изменилось в одночасье: восстала из пепла Россия как птица Феникс, восстановив собственное жертвенное священнодействие, затем обозначили свой выбор народы Европы и Америки, выбор совершенно неожиданный для жрецов Транспарации. Нормальные граждане, носители здравого смысла, не захотели быть агнцами для всесожжения и, словно бы стряхнув наваждение, вырвались на свободу.

Конечно, об окончательных итогах судить пока рано, но похоже, что и эта, тщательно подготовленная, жертва, оказалась неугодной Богу Авраама, Исаака и Иакова, — что позволяет нам и вправду охарактеризовать Новое Время как эпоху отвергнутых жертв, откуда естественно вытекает замена подлинного созидания (включая творение *ex nihilo*) тиражированием и репликацией различных форм вещественности и социальности.

А ЧТО ИСКУССТВО?

Европейское искусство стало преемником сакральной трансляции, если угодно, религии, и это произошло *только* с европейским искусством. Лишь в Европе художник попробовал себя в роли священнослужителя, жреца и пророка — и распробовал себя в этой роли, и понравилась она ему.

Статус произведений искусства как нетленных и нерукотворных, уже начиная с эпохи Возрождения находится гораздо ближе к святыням, чем

к ремесленным изделиям в самом широком смысле слова, несмотря на «хищный глазомер простого столяра» (О. Манделштам) и на внутрицеховые признания того же рода. Европейское искусство на протяжении нескольких столетий функционирует как светская религия, где почти каждый параметр практикующей церкви имеет свои параллели. Даже биографии художников, прежде всего их художественные и легендарные биографии, охотно воспринимаются как жития святых, — достаточно вспомнить Леонардо, Моцарта, Ван Гога, Пушкина или Толстого.

Но если это так, то рассмотрение искусства как жертвоприношения должно быть воспроизведено со всей тщательностью, ведь жертвенное приношение и есть главное священнодействие, одобренный или отвергнутый проект благословения к созиданию.

Если говорить в самых общих чертах о феномене европейского искусства, необходимо признать, что жертвоприношение художника увенчалось успехом, его жертва была благосклонно принята свыше, Господь *призрел* ее. Это произошло в эпоху Возрождения и свершилось во всех измерениях реальности сразу — в экзистенциальном, социальном и историческом, но, разумеется, с разной скоростью. Вот «на входе» мы видим бродячих актеров, циркачей, скоморохов, странствующих художников (рисовальщиков), голодных поэтов (вагантов), готовых воспеть подвиги господина в обмен на скромное место за пиршественным столом. В совокупности их всех не так много, малочисленное племя, которому предстоит получить благословение и обетование свыше. Среди прочих мастеров-ремесленников, разных кузнецов, ткачей, оружейников, они выделяются разве что особой нуждой и неприкаянностью — это на входе.

А на выходе, по прошествии нескольких столетий, мы видим подлинную элиту общества. Теперь художник — это тот, кем мечтают стать, актриса, играющая на сцене или тем более на экране, — та, о ком говорят с придыханием, поэт — Председатель Земного Шара, а музыкант...

— С добрым утром, Бог, — говорит Бах.

— С добрым утором, Бах, — говорит Бог...

(Александр Галич)

И размножилось это прежде немногочисленное племя как песок морской, — никогда, ни в какой религии не было столько жрецов и пророков... Да и среди прочих, каждый второй — поэт в душе, каждый третий — непризнанный художник. Признанность, конечно, лимитируется «величиной прихода», но возможно депонирование вкладов «до востребования», ибо вклады *нетленны*.

Денежное вознаграждение, конечно, запаздывает, поскольку оно обусловлено обетованием другому богу (Маммоне), но в какой-то момент приходит и оно, свидетельством чему Голливуд, гламур и шоу-бизнес в целом. Некоторое презрение *настоящих художников* к ловцам такого рода благополучия

как раз и объясняется его происхождением от другого бога: обогащаются, так сказать, «выкресты» в среде художников, как бы сменившие кредо.

И все же в целом, со времен принятой с благосклонностью жертвы Авеля, трудно найти другой такой, столь же убедительный и вдохновляющий, пример. Да, великое жертвоприношение состоялось и дало толчок созиданию миров. По большей части миров химерных и эфемерных. Но некоторые из них сохранили и продолжают сохранять, так сказать, всхожесть семян. К ним следует присмотреться повнимательнее, — но прежде задумаемся: а что, собственно, было принесено в жертву? И/или кто? Общие метафизические соображения тут ничего не подсказывают, зато на помощь приходит один анекдот — анекдот о русском писателе.

Итак, по писательскую душу приходит Сатана и начинает искушать. То есть предлагает жесткий экзистенциальный выбор:

— Выбирай. Ты обретешь всемирную славу. Твои книги будут читать. Переиздавать и преподавать. Тебя будут узнавать на улицах, ты получишь Нобелевскую. Собратья по цеху лишатся сна от зависти. Но взамен — ты потеряешь своих близких и всех родственников. Выбирай!

И писатель начинает думать. Рассуждая про себя. И отчасти вслух:

— Так. С одной стороны — всемирная слава. Нобелевка. Зависть этих. Как его... Собратьев... Блеск! С другой стороны — никогда не увижу близких, потеряю родственников — и шуринов! и деверей! и свояков! Черт возьми, ну никак не могу понять... В чем же здесь прикол?...

В этой короткой притче содержится исчерпывающий ответ: вот что и вот кто были принесены в жертву. А о том, что жертва была чистой, совершенной от всей души, свидетельствует как раз тот факт, что настоящий, самозабвенный писатель (художник) не может даже понять, в чем прикол. «Оставь отца своего и мать свою», — говорит Иисус. Вот и художник однажды без всякой подсказки принес эту жертву — во имя допуска к священнодействию, ради благодати и Первородства в обладании ею¹. И Господь, как уже было сказано, призрел эту жертву.

Но жертвоприношение требует возобновления, созидательный потенциал, обретенный на огне жертвенника, угасает. Мерцающий режим души в значительной мере наследует мерцающему режиму жертвоприношения. Понятно, что облагодетельствованный художник, чье племя размножилось как песок морской, не может рассчитывать на вечные гарантии.

То, что искусство находится в кризисе, мы слышим сегодня отовсюду, — и это правда, слишком многое свидетельствует об этом. Но правда и в том, что кризис, о котором идет речь, в значительной мере и даже прежде всего есть жертвенный кризис. Данное однажды благословение почти иссякло, его

¹ Самые наблюдательные из писателей давным-давно осознали это обстоятельство. Вот что, например, говорил Лев Толстой: «Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна» (Толстой 1952, 116).

удивительные плоды в значительной мере обналичены «медными деньгами». То есть внутри благословенного племени произошел раскол, и некоторая его часть совершила незаконную, не предусмотренную обетованием сделку, продав первородство за чечевичную похлебку. Вскоре этот раскол был закреплен и институционально: из племени посмертников (претендентов на долгую посмертную славу) выделились *эфемеры*, из которых сегодня укомплектованы такие подразделения символического производства, как шоу-бизнес и *полса*, удерживающие звание художника в том же смысле, в каком обращение *господин* захватили булочник, сапожник и водопроводчик.

Полученная чечевичная похлебка, однако, повредила и тем, кто не собирався продавать первородство: жертвенный кризис в искусстве, безусловно, носит самый общий характер. Но есть ли из него выход, имеется ли способ вновь обрести благословение и придать своему изрядно профанированному занятию прежний характер священнодействия?

Ясно, что жертву надо возобновить, и поскольку прежнее приношение утратило ценность, нужно выбрать что-нибудь из дорогого и воистину ценного — и обречь на всеожжение или как-нибудь иначе отправить богам по быstroдействующей почте (любая стихия подойдет). А что же самое дорогое есть у художника? Понятно что, — его произведения, они же — его детища. Очень высока вероятность, что приношения из этого приплода будут угодны Господу. Иными словами, созидательная сила искусства сегодня, как никогда прежде, нуждается в жертвенном освящении и возобновлении.

Следовательно, нужно взять с собой *любимое детище* и проделать путь к жертвенному алтарю — так, чтобы успеть попрощаться, чтобы успели это сделать и другие участники шествия, включая виртуальное сопровождение: пусть даже они видят картину-жертву первый и последний раз. От нее останутся прижизненные и посмертные изображения (копии, включая авторские), но само посмертное детище будет предано огню или другой стихии, обеспечивающей связь с трансцендентным, связь с богами. Характер священнодействия прочитывается даже в этом приблизительном описании. Детали могут быть какими угодно (как устройство жертвенников и распорядок самих церемоний), но суть в том, что жертвоприношение остается единственной альтернативой профанации в сложившихся условиях.

Ибо архивы переполнены, музеи забиты под завязку, судорожное производство опусов предстает как основное занятие бесчисленный авторов, и созидание давным-давно уже перешло в захламление. Часть продукции удается обратить в товарную форму (так формируется совокупная бижутерия мира), подобные изделия выбывают из состава искусства, а их изготовители утрачивают знак отличия от прочих смертных, получая взамен оплату за труд. Но и те художники, которых никто не исключал из искусства, в результате глубокого жертвенного кризиса оказались как бы на обочине символического; их приношения-произведения, число которых уже воистину сопоставимо с количеством морских песчинок, давно уже встречаются без какого-либо придыхания

(священного трепета), скорее со вздохом... «Высокая болезнь», о которой говорил Пастернак, несомненно, лишилась своей высоты и была разжалована в обычную болезнь, то ли нервную, то ли психическую. Пришлось даже зарабатывать специальный курс лечения, получивший название арт-терапии: за умеренную плату врачи соглашались выслушивать рассказы страдающих воспаленным авторствованием пациентов, оценивать их рисунки, «картины маслом», всякие мелкие финтифлюшки, будь они из пластилина, из дерева или из гипса.

Как ни крути, выход через жертвоприношение оказывается единственным, и поскольку «собственные детища» попадают в разряд самого дорогого, то именно из числа лучших приношений должны отбираться жертвоприношения. Еще раз отметим, что конкретные детали могут быть весьма различны, не совсем ясно, как жертвенная практика коснется тех или иных видов искусства, ясно пока лишь одно — действенность лозунга: «сим победиши!» Предварительный набросок мог бы выглядеть примерно так.

ХОЛОКОСТ СИМВОЛИЧЕСКОГО

Разрозненные попытки уничтожить собственное детище спорадически регистрировались на протяжении столетий. Тут можно ограничиться Гоголем и его сожжением второго тома «Мертвых душ»: нет ничего более далекого от жертвоприношения, чем утилизация бракованных заготовок. Новый цикл жертвоприношения и созидания начнется внезапно и в кратчайшие сроки обретет планетарный масштаб. Если перефразировать фразу из «Ночного дозора»², получится следующий текст:

Сотню лет продлится перепроизводство символического, заполнив все архивы и музеи. Но потом придет *великий иной* Художник и возобновит жертвенную практику. Он принесет в жертву богам лучшее из созданного им, и так начнется эра Нового Созидания, эпоха возобновленного завета. Выставочные залы не исчезнут, но главными производственными участками искусства станут алтари Всесожжения, на которых и будет разворачиваться Холокост символического. Сначала таких художников будет вообще немного, может быть только один, первый, самый решительный и отчаянный, который поймет в один прекрасный день, чем отличается искусство от Искусства. Поймет, что отличается оно, Искусство, не сочностью красок, не расчетливостью композиций и не точностью линий, хотя все это тоже важно. Но отличие Искусства в его причастности к жертвенной практике, в том, что часть произведений и, быть может, лучшие из них прямоком отправятся на алтарь Всесожжения. И этот иной художник доставит туда свое детище — прямо из мастерской, с выставки, из музея — и предаст его огню. Под оставшимися пожизненными снимками и посмертными репродукциями будет написано: оригинал принесен в жертву в такой-то день и час такого-то столетия. И Господь призрел принесенную жертву.

2 Российский блокбастер кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, вышедший в прокат в 2004 г. Снят в жанре городского фэнтези по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. — *Прим. ред.*

Практически нет сомнений, что первым в этой практике будет именно живописец, так сказать, представитель изобразительного искусства. Но за ним последуют режиссеры, музыканты, поэты и писатели; всем видам искусства предстоит найти способы причастности к жертвенной практике. Музыканты могут сыграть сочинение какого-нибудь великого композитора в звуконепроницаемом зале, где их никто не услышит кроме Бога, и время от времени им придется возобновлять исполнение в пустоте, ибо именно для такого исполнения будет предназначено жертвенное приношение композитора и их собственное.

Для поэтов и писателей можно было бы предусмотреть самоуничтожающуюся бумагу, чтобы книга в определенный момент рассыпалась в прах, — но наличие электронных носителей лишает этот жест подлинной радикальности. Быть может, действенным окажется обет молчания, добровольно принятый на себя поэтом, скажем, сроком на год. А для писателя, быть может, — нечто подобное тому, что описал Борхес в своей новелле «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”», — пересоздание уже созданных произведений, где в жертву приносится собственное время, и, так сказать, души прекрасные порывы. Необходимость причастности и тяга к жертвенности станут очевидными, когда художник начнет обретать свободу (например, свободу от товарной формы и пользаприношения вообще), а само искусство вновь начнет набирать мощь и созидательный потенциал.

Ну а музеи — представим себе, что они раз в год осуществляют жертвоприношение одной из драгоценных единиц хранения. Представим галереи и выставочные залы, где, помимо вернисажей, есть и день причастности к всеожжению символического, — и не обязательно сам художник должен решать, что именно из его приношений потребу́ю боги. Ему достаточно знать, что *боги жаждут*, и надеяться на то, что когда-нибудь, быть может, в этот раз, Бог ответит руку с поднесенным факелом.

Только так может быть восстановлено право на священнодействие, и как только оно будет восстановлено, появятся совершенно четкие отличия искусства от попсы: Искусство присоединено к жертвенной практике, а попса от нее принципиально отключена. Художник может лишиться и любимого детища, и самой жизни, поскольку в священнодействии есть воистину опасные участки. Но шоумен сохранен и сбережен в гегелевском смысле, все, чем он рискует, — это выйти из моды. А подлинный художник рискует еще и тем, что его жертва может оказаться и *неугодной*...

СИМВОЛ ХРИСТИАНСТВА

Уже было дано вытекающее из жертвенной практики определение божественного: право отвергнуть принесенную тебе жертву уже после того, как она принесена. Установили мы также, что если подобным образом поступают люди по отношению друг к другу, то это либо вероломство, которому нет прощания, либо любовь — отвергнутая, но не нуждающаяся в прощении, и потому божественная.

Бог волен призреть или не призреть принесенную жертву, это его привилегия. Но богам случалось приносить в жертву и самих себя, — вспомним, опять же, скандинавскую мифологию. Но воистину покори́л мир самым радикальным жертвоприношением другой бог. Это Иисус, Господь наш. Он принес себя в жертву людям, — и так был введен в действие величайший созидательный потенциал, значительно превышающий возможности созидания, даваемые принятой, одобренной богами жертвой смертных. Но это еще не все: совершив собственное жертвоприношение во имя смертных, претерпев муки на кресте, Иисус оставил каждому возможность принять или отвергнуть эту жертву. Так было задано онтологическое и теологическое основание свободы, — разумеется, не в смысле свободного поднятия руки и не в смысле Эпикурова «клинамена». Произшедшее называется так: он сотворил человека свободным, и сделать это, сотворить человека свободным, можно только встречным жертвоприношением, которое он, *свободный*, как раз в этот момент может и не принять. Если сотворение человека есть непрерывный демиургический акт, то его сотворение свободным происходит на Голгофе — и продолжает происходить.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гегель Г. В. Ф. (1992) *Феноменология духа*. СПб.: Наука (Слово о сущем).
 Гегель Г. В. Ф. (2002) *Наука логики*. СПб.: Наука (Слово о сущем).
 Достоевский Ф. М. (1991) «Братья Карамазовы» Ч. 1–3. Достоевский Ф. М. *Собр. соч.* в 15 т. Т. 9. Л.: «Наука», Ленинградское отделение.
 Кожев А. (1998) *Идея смерти в философии Гегеля*. М.: «Логос», «Прогресс–Традиция» (Ессе homo, 3).
 Ницше Ф. (1990а) «Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого». Ницше Ф. *Соч.*: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль. С. 5–237.
 Ницше Ф. (1990б) «К генеалогии морали. Poleмическое сочинение». Ницше Ф. *Соч.*: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль. С. 407–524.
 Толстой Л. Н. (1952) «Записная книжка № 4, 1865–1872 гг.». Толстой Л. Н. *Полное собрание сочинений*. В 90 т. Т. 48. *Дневники и записные книжки, 1858–1880 гг.* М.: Государственное издательство художественной литературы. С. 114–162.

SACRIFICE AND CREATIVITY

Alexander Sekatskiy

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Institute of Philosophy of the Saint Petersburg State University.

Address: 7/9 Universitetskaya emb., St. Petersburg 199034, Russia.

E-mail: asekatski@mail.ru

KEYWORDS: *sacrifice, self-sacrifice, ascesis, history, a historic event, rejection, art.*

The article is devoted to the attempt to resolve one of the most important questions of metaphysics and, by the way, the existential paradox: how can sacrifice, being the pure idea of negativity, also be a condition sine qua non of all creativity, worthy of the name?

A brief anthropological investigation suggests that the first human sanctuary is the altar, with the sacred and sacrificial still dwelling in an indissoluble conjunction. The paper examines the relation of the sacrificial principle with the strength of social cohesion gained thereby and with the historical forms of religion and art; an attempt is also made to identify the sacrificial discourse in European metaphysics, where it is often deeply hidden or takes an odd shape.

From a metaphysical perspective the problem of sacrificial crisis is examined, with particular attention paid to sacrifice being accepted or unaccepted (rejected). It turns out that many of the events of history lend themselves to an interpretation in the logic of accepted, rejected or declined sacrifice, and although the results of such interpretations are speculative, they are not without philosophical interest and significance.

In the sacrificial context the rise of European art is also considered that occurred in the Renaissance, thus the ongoing artistic creation gets a new explanation.

In the human world, even in the modern era, there are sacrifice and self-sacrifice: it is owing to this fact that bonds of closeness and true friendship are established — however the right to reject the sacrifice without explanation remains the exclusive right of God and the essential attribute of divinity. Only love shows sometimes such contradictory depths, and therefore God is Love.

REFERENCES

- Hegel G. W. F. (1992) *Phänomenologie des Geistes*. St. Petersburg: Nauka (Slovo o sushchem [Word on the Being]). (in Russian).
- Hegel G. W. F. (2002) *Wissenschaft der Logik*. St. Petersburg: Nauka (Slovo o sushchem [Word on the Being]). (in Russian).
- Dostoyevsky F. M. (1991) “Brat’ya Karamazovy” Ch. 1–3 [The Brothers Karamazov. Part 1–3]. Dostoyevsky F. M. *Sobr. soch.* v 15 t. T. 9 [Collected Works in 15 vol. Vol. 9]. Leningrad: “Nauka”, Leningradskoe otdelenie. (in Russian).
- Kojève A. (1998) *Ideya smerti v filosofii Gegelya* [The Idea of Death in the Philosophy of Hegel]. Moscow: “Logos”, “Progress–Traditsiya” (Ecce homo, 3). (in Russian).
- Nietzsche F. (1990a) “Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen”. Nietzsche F. *Soch.:* v 2 t. T. 2 [Works in 2 vol. Vol. 2]. Moscow: Mysl’: 5–237. (in Russian).
- Nietzsche F. (1990b) “Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift”. Nietzsche F. *Soch.:* v 2 t. T. 2 [Works in 2 vol. Vol. 2]. Moscow: Mysl’: 407–524. (in Russian).
- Tolstoy L. N. (1952) “Zapisnaya knizhka № 4, 1865–1872 gg.” [Notebook No. 4, 1865–1872]. Tolstoy L. N. *Polnoe sobranie sochinenii*. V 90 t. T. 48. *Dnevnik i zapisnye knizhki, 1858–1880 gg.* [Complete Works in 90 vol. Vol. 48. Journals and Notebooks, 1858–1880] Moscow: Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoi literatury: 114–162. (in Russian).

ESSE: Studies in Philosophy and Theology. Vol. 1. No. 1. 2016. P. 45–62.

© Alexander Sekatskiy, 2016